

Давид Айзман

Ледоход



Давид Яковлевич Айзман

Ледоход

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2779275

Аннотация

«Пароходика еще не было видно, но надъ зеленой ст#ной высокихъ камышей, загоразивавшей р#ку почти до самой половины, уже клубился жиденъкй, бурый дымокъ, и на пристани поднялась л#нивая возня.

Люди и хлопотали, и галд#ли, что-то тащили и убирали, но зам#тно было, что все это они прод#лывають вяло, безъ увлеченія и интереса, по привычк#, изъ неодолимой необходимости, скучной и нудной. Даже ругались нехотя, и одинъ только пароходный агентъ, рыжй, кривоногй еврей, въ грязномъ, чесучовомъ пиджак#, съ изумительно длинными, отвисшими карманами, орломъ носился взадъ и впередъ и во всю глотку, съ видимымъ наслаждениемъ, оралъ и отдавалъ приказанія...»

Произведение дается в дореформенном алфавите.

Содержание

I	4
II	6
III	8
IV	10
V	13
VI	15
VII	17
VIII	20
IX	22
X	24

Давид Яковлевич Айзман

Ледоходъ

I

Пароходика еще не было видно, но надъ зеленой ст#ной высокихъ камышей, загоравшей р#ку почти до самой половины, уже клубился жиденк#й, бурый дымокъ, и на пристани поднялась л#нивая возня.

Люди и хлопотали, и галд#ли, что-то тащили и убирали, но зам#тно было, что все это они прод#лываютъ вяло, безъ увлеченія и интереса, по привычк#, изъ неодолимой необходимости, скучной и нудной. Даже ругались нехотя, и одинъ только пароходный агентъ, рыжій, кривоногій еврей, въ грязномъ, чесучовомъ пиджак#, съ изумительно длинными, отвисшими карманами, орломъ носился взадъ и впередъ и во всю глотку, съ видимымъ наслажденіемъ, оралъ и отдавалъ приказанія.

На пристани, – двухъ десяткахъ гнилыхъ, осклизлыхъ досокъ, – этотъ щупленьк#й человекъ былъ царемъ. Зд#сь была его сила и власть, и ужъ онъ пользовился этимъ счастьемъ, широко и съ упоеніемъ. Онъ командовалъ съ такой суетливостью, съ такой напряженной крикливой озабоченностью, какъ если бы и пристани, пароходнику, и вс#мъ людямъ, на немъ находившимся, угрожала немедленная и страшная опасность. Онъ бранился, угрожалъ, ужасался, раздавалъ подзатыльники, – и старый извозчикъ Онисимъ Заверюха, поджидавшій пассажировъ, не дерзалъ взойти на пристань, а скрывался на берегу, за будкой, и изъ этого безопаснаго далека, задумчиво поглядывая на орла въ чесуч#, тихонько бормоталъ:

– Отто окаянный!.. Правду люди кажутъ: не агентъ, а гинтъ {По-еврейски – собака.}.

– Прочь оттудова! – горланилъ орелъ, указывая короткой рукой на молоденькую, л#гть семнадцати, д#вушку, стоявшую на краю пристани. – Мамзель, потрудитесь оттудова прочь!.. Ишь, смотри-ка на нее! Думаетъ, когда въ шляпк#, такъ надо тамъ стать... Колотушку съ парохода будутъ бросать. Колотушка очень станеть разбирать, кто въ шляпк#, кто въ платк#. Такъ по голов# трахнеть – мое почтеніе...

Пароходъ выползъ, наконецъ, изъ-за камышей.

Гулко хлопая колесами и распространяя тяжелый смрадъ – см#сь запаховъ машины, соленой рыбы и дыма, – грязненьк#й, убог#й, съ хрипомъ, съ храпомъ, вздрагивая и покачиваясь, подошелъ онъ къ пристани и навалился ободраннымъ бокомъ на край ея. И оттого, что пассажиры – ихъ было десятка три – столпились на одной сторон#, хранящій Левіа#анъ накренился на эту сторону, а другую быстро поднялъ кверху.

– Назадъ! На той бокъ, на той бокъ! – отчаянно затопалъ ногами агентъ. – Назадъ, мазепы, арестанты...

Пассажиры почти вс# были палубные, – народъ б#дный, обшмыганный и покорный. Классныхъ было всего трое: какой-то военный, с#доволосая дама съ четырьмя одинаковыми собачками и судебный сл#дователь, который былъ до того пьянъ, что сходя съ парохода чуть не свалился въ воду.

– Билеты ваши, билеты подавайте, черти, мазепы босоногіе... Благодарю васъ, барыня. Дама съ четырьмя собачками величественно прошла передъ агентомъ. – Билеты наготовьте!

Однимъ изъ первыхъ сошелъ съ парохода молодой челов#къ л#гть двадцати-двухъ, смуглый, худощавый, съ легкимъ пушкомъ на подбородк#, съ большими, ласково улыбающимися глазами. Онъ улыбался своей сестр#, – той самой молоденькой барышн#, которой только-что угрожалъ колотушкой распорядительный агентъ въ чесуч#. Но д#вушка еще не зам#тила при#хавшаго и, съ видимой тревогой, глазами искала его въ толп# на пароход#.

– Вот же я, Соня! – сказал молодой человек, и взял сестру за руку.

– Ах, Яков!

Они обнялись и крепко расцеловались.

– Уходите-съ отсюда, уходите! – свирепо заорал вдруг агент. – От, нашли место где целоваться! Что ты на них скажешь, а!

Держась за руки, молодые люди отошли в сторону.

– Здоровь?.. Приехал благополучно?

– Вполне благополучно... Дома как?.. А ты ничего... выглядишь хорошо.

В глазах Якова, оглядывавшего сестру, появилось то выражение беспокойства и тайного страха, которое часто бывает у человека, когда он близкому, горячо любимому существу, говорит слова ободрения, а сам словам этим не верить, и весь холодеет и сжимается оттого, что верить нельзя...

– Да, мне лучше, я поправляюсь... Ну что же, рассказывай, парижанин, говори: ведь много интересного видешь.

– Господин... барин... пожалуйста чемодан... Извозчика надо?..

– Я повезу.

– Вот я повезу.

– Вот лучше я.

На пристани и на берегу, между извозчиками, шла уже отчаянная борьба за место, и человек десять накинулось теперь на Соню и ее брата. Рвали из их рук чемоданы, рвали их самих, тащили за полы, за рукава, расхваливали своих лошадей, свои фургоны, самих себя, и с умоляющими нотами и жестами просили "дать заработок".

Яков остановился в смущении: картина давно знакомая, хорошо знакомая; но за два года отсутствия он уже отвык от нея, и теперь эта дикая борьба за грошовый заработок производила на него особенно гнетущее, почти ошеломляющее впечатление. Он стоял растерянный, и ему как то неловко и совестно было, что есть у него вещи, чемодан, подушки, что его упрашивают, в нем нуждаются, что от него зависит "осчастливить" извозчика, предоставив отвозить себя...

– Господин... барин... дозвоьте... я дешево возьму, я отнесу ваши вещи.

Сдой, измученный еврей, фигуркой похожий на мальчика, угасшими глазами смотрел на Якова и протягивал к нему руки, как в молитву.

– Я отнесу... за пять копеек... до дому, до вашего, до самой квартиры... куда надо... куда захочете.

Но уже один из извозчиков вырвал из рук Якова чемоданы и, взвалив их на свой фургон, стал взбираться на него сам.

– Садитесь же, что их слушать! Разв они что понимают! Разв у них кони! – весело горланил извозчик-победитель. – Ползут, как вошь по струне. А я вас доставлю в двадцать минут, в один момент... Посмотрите, какой фургон, прямо экспресный поезд, и больше ничего... Садитесь, садитесь, сейчас увидите, как полетит.

Сдой еврей с тоской и болью смотрел на чемоданы Якова, которых ему бы, пожалуй, и не поднять, и губы его беззвучно шептали...

II

«Экспресный по#здъ» тронулся.

Дорога шла вдоль р#чного берега, и грязь была з#сь такая, что лошади, жалкія и обл#злыя, съ язвами на спин# и опухолями на ше# и кол#няхъ, еле вытаскивали ноги. Весной р#ка зд#сь разливалась и м#сяца на полтора превращала окрестности въ непроходимую топъ. И теперь еще, л#в#е, у камышей, сверкало обширное болото, гнилое и смрадное. Ядовитыя испаренія желтоватою мутью тяжело стлались надъ какой поверхностью, медленно, но неудержимо расползались по сторонамъ, обволакивали и городъ, и деревни и развивали въ нихъ злыя бол#зни...

Во время разлива къ р#к# добираться приходилось "горой", и это было мученіемъ и для лошадей, и для людей. Къ концу апр#ля, когда подсыхало, #здили уже "низомъ" по м#стности, которая не изм#нила своего вида съ самаго того момента, когда ее создалъ Господь...

И теперь по этой м#стности тащилось н#сколько подводъ и плелись люди, изломанные и скрюченные подъ тяжестью огромныхъ узловъ...

Направо отъ дороги поднимался крутой, с#рый обрывъ, ус#янный множествомъ небольшихъ камней. Зд#сь были каменоломни. Р#зали камень, возили въ городъ, но тамъ онъ никому не былъ нуженъ, такъ какъ ужъ н#сколько л#тъ кряду были неурожаи, д#ла шли плохо, и никто не строился... М#стами къ дорог# подб#гала открытая степь, и въ ней все было выжжено засыпано пылью, и только кое-гд# торчали умирающія стебли будяка, да одинокіе кусты колючекъ... Все вокругъ им#ло видъ убогій, жалкій, все говорило о нищет#, неустройств#, – и болью подавленности, и тоской умиранія в#яло отъ разбросанныхъ м#стами хатъ и отъ встр#чавшихся изр#дка челов#ческихъ фигуръ...

– Такъ рассказывай же, – обратилась Соня къ брату. – Я такъ ждала тебя... Вид#ль ты много... Вид#ль Герця?

– Вид#ль...

Въ глазахъ д#вушки отразилась не то зависть, не то нетерп#ніе.

– Необыкновенный онъ, правда? Удивительный?

– Ничего необыкновеннаго я въ немъ не нашель, – спокойно отв#тилъ Яковъ. – Удивительно только то, что челов#къ этотъ могъ увлечь за собой такъ много неглупыхъ людей.

Соня встрепенулась.

– Такъ!.. ты все прежній!.. На тебя ничто не вліяетъ, и ты все-таки противникъ сіонизма.

– А ты полагала, что если посмотришь на Герця, то такъ сейчасъ же и переб#жишь на его сторону? – усм#хнулся Яковъ.

– Не могу я это слышать! – на лиц# Сони появилось выраженіе острой боли. – Я ужъ вижу, въ чемъ д#ло: ты сейчасъ станешь мн# п#ть про "общую работу", про великіе идеалы всего русскаго народа, и все такое... А я теб# скажу, что все это слова, слова и слова... И химера.

– Разум#ется... Зато ужъ возсозданіе еврейскаго царства – не химера.

– Конечно, н#ть! – съ силой сказала Соня. – Это вещь трудная, страшно трудная, но это ни въ какомъ случа# не химера... Это не химера уже потому, что этого хочетъ народъ, – понимаешь? – весь народъ! А если чего-нибудь хочетъ ц#лый народъ, то онъ своего добьется.

– "Ц#лый народъ, ц#лый народъ"... Въ томъ-то и штука, что народъ вовсе не съ вами. Народъ хочетъ обновить свою жизнь, но народъ нисколько не стремится въ Сіонъ.

– Н#ть, онъ туда стремится! Онъ стремится туда, потому что лучше васъ, искал#ченныхъ, слабыхъ и сбитыхъ съ толку неврастениковъ, понимаетъ, что вн# Сіона никакое обновленіе для него невозможно...

Соня очень походила на брата: тот же носъ съ горбинкой, т# же темные, выразительные глаза, т# же полныя губы и продолговатый овалъ лица. Но у нея щеки были впалыя, глаза глубже, и лежали подъ ними густыя, синеватыя т#ни. И вся она была какъ-то нервн#е, стремительн#е брата, сосредоточенн#е и строже. Въ голос# Якова порою слышалось сомн#ніе, иронія, – н#жная, печальная иронія, та самая, которая не дешево обходится, которая рождаетъ въ сердц# и боль, и тоску, а иногда и холодное отчаяніе. Соня же сомн#ній не знала, не любила ни ироній, ни шутокъ, говорила всегда серьезно, а спорила съ горячностью, со страстью, съ в#рой незыблемой. Она не любила недомолвокъ, презирала колебанія, рубила съ плеча, и ужъ если в#рила или любила, то до самозабвенія, до абсурдныхъ словъ и поступковъ. Ея лицо, когда она спорила, д#лалось строгимъ, суровымъ, глаза разгорались, разгорались и щеки, и при взгляд# на нее становилось ясно, что переуб#дить ее, или даже только поколебать, невозможно такъ же невозможно, какъ не возможно сд#лать холоднымъ огонь... И еще становилось ясно, что недолгов#чна она, эта хрупкая д#вушка, съ узенькими плечиками, съ тоненькой шеей, съ голосомъ, въ которомъ и ненависть мятежника, и пламень пророка, и ужась передъ тяжестью жизни...

– И погоди, погоди! посмотришь, что будетъ съ нашимъ движеніемъ л#тъ черезъ восемь, десять! – вскричала Соня.

III

Яковъ не отвѣтилъ. Но нѣсколько минутъ спустя, обводя задумчивымъ взглядомъ разстилавшійся впереди унылый пейзажъ, онъ глухо проговорилъ:

– Если бы нашлись знающіе, предприимчивые люди, какой отличный портъ можно бы здѣсь создать! А теперь хлѣбъ грузится за десять верстъ отъ города, по такой вотъ дорогѣ, и доставка его отъ города до пристани стоитъ въ шесть разъ дороже, чѣмъ доставка отъ пристани до Лондона... Почти каждый годъ наводненія уносятъ у нищаго населенія послѣдній скарбъ... Потомъ все гнѣтъ, разлагается, мучаютъ лихорадки, тифы, мрутъ безъ числа... И голодовки, и безправіе, и насиліе, и темнота духовная... ужасъ!..

Соня молчала, но по лицу ея проходили какія-то странныя тѣни, и было видно, что слова брата ея раздражаютъ и злятъ...

Подвода поднялась на пригорокъ. Грязи уже не было, а носилась тучею густая, сѣрая пыль, и сквозь мутную пелену ея затемнѣли кривые и жалкіе домишки городка, тяжелый куполь собора и огромное зданіе тюрьмы...

Навстрѣчу плелась телѣга съ длиннымъ дышломъ, но лошадка была одна, и это напоминало искалѣченнаго однорукаго человѣка. На телѣгѣ пьяная баба издавала дикіе, пронзительные возгласы, – она не то плакала, не то пѣла, а мужикъ, тоже пьяный, оглашалъ воздухъ скверной руганью и дѣлательно стегалъ кнутомъ то по одинокой клячкѣ, то по бабѣ... И бѣлѣли вдали кладбищенскіе кресты и небольшая церковка, и отъ этого крики пьяныхъ людей казались чѣмъ-то непонятнымъ, неправдоподобнымъ...

– Наводненія, отсутствіе порта, тифы и вся эта нищета и уродства – мнѣ до этого нѣтъ никакого дѣла, – угрюмо проговорила Соня. – Ни малѣйшаго!

– Это легко понять, – усмѣхнулся Яковъ, – потому что наводненіе еврейскіе дома вѣдь обходить, и тифъ и лихорадки тоже вѣдь въ нихъ не проникаютъ... Что за ребячество, Соня! – повысилъ онъ голосъ. – Развѣ ты и въ самомъ дѣлѣ не видишь связи между этой общей неурядицей и положеніемъ нашего народа?

– Очень ясно вижу. Но я вижу и то, что когда вся неурядица исчезнетъ, и сдѣлается въ Россіи рай земной, намъ все таки будетъ здѣсь скверно.

Въ выраженіяхъ горячихъ и торопливыхъ Соня стала развивать свою мысль. Другіе народы никогда не сживутся съ евреями, – это доказано цѣлымъ рядомъ вѣковъ. Евреи много дѣлали для націй, среди которыхъ жили, двигали впередъ науку, искусство, совершенствовали формы общественной жизни, были всегда первыми въ рядахъ борцовъ за свободу, отдавали всю свою энергію, свои силы и дарованія, и жизнь, и за все это имъ платили потомъ жестокостями, кровавыми расправами, презрѣніемъ и гнетомъ. Евреи вездѣ были паріями, и теперь они тоже паріи, – даже въ самыхъ передовыхъ странахъ, даже тамъ, гдѣ они пользуются всѣми политическими правами. И такъ оно будетъ всегда, всегда... И выходъ поэтому ясенъ: домой, къ себѣ. И не жить больше среди чужихъ, и для чужихъ не работать.

– Все это пустое, – сказала Яковъ.

И онъ сталъ разбивать доводы сестры.

Онъ расходился съ Соней во всемъ. По его мнѣнію, между христіаниномъ-рабочимъ и евреемъ-рабочимъ больше общаго, чѣмъ между евреемъ-рабочимъ и евреемъ-банкиромъ. Раздѣляютъ людей не принадлежность ихъ къ той или иной религіи или національности, а классовыя перегородки. Если даже предположить, что евреямъ удалось бы создать свое государство, то и въ этомъ своемъ углу власть и сила, и всѣ богатства захвачены были бы кучкой патриціевъ, а народъ томился бы въ рабствѣ. Феодалъ еврей нисколько не лучше феодала иныхъ національностей. Все дѣло въ классовыхъ перегородкахъ. Когда эти перегородки

будутъ снесены – вс# люди объединятся въ одну семью, не будетъ ни паріевъ, ни патриціевъ, и евреи сравнятся со вс#ми.

– Вздорь!.. – перебивала брата Соня, – ты говоришь чист#йшій вздорь. Я сейчасъ теб# это докажу.

Споръ разгорался, ожесточался.

И уже перешли спорщики на личности, и осыпали другъ друга колкостями, обвиненіями, укорами. Соня упрекала брата въ черствости, въ легкомысліи, въ шаблонномъ мышленіи, въ томъ, что онъ "нахватался жалкихъ идеекъ", которыя не сум#ль даже переварить. Яковъ обвинялъ сестру въ узости, въ чудовищномъ нев#жеств#, въ "кугельномъ патріотизм#" , отъ котораго просто тошнить.

IV

«Экспресный по#здъ», т#мь временемъ, пере#халь черезъ мостъ, – жалкое ветхое сооруженіе, которое трепетно колыхалось и стонало подъ колесами подводы. Оно стонало такъ жалобно и громко, что становилось жутко, и начинало казаться, будто #дешь по живому, страдающему т#лу... За мостомъ лежали кладбища русское и еврейское. И посл# смерти люди чуждались другъ друга, уходили въ разныя стороны и огораживались длинными каменными заборами...

На русскомъ кладбищ# были деревья, пестр#ли в#нки и цв#ты, кресты стояли высокіе, св#тлые. Чувствовалась какая-то ласковая уютность, какая-то особенная задумчивая прелесть. Тихо было зд#сь и грустно, и хорошо, смиреніемъ наполнялась душа, и такъ хот#лось жалости, милосердія, прощенія... А по другую сторону оврага, гд# хоронили евреевъ, не было и признаковъ растительности, и все тамъ было сурово и страшно. Въ испуганную толпу сбились тяжелыя надмогильныя плиты, и чернымъ ужасомъ в#яло и отъ нихъ, и отъ лежавшаго спереди еще незанятаго пространства... Изъ глубины, зигзагами пробиваясь межъ мрачныхъ камней, шелъ глухой и мучительный стонъ, онъ вырывался на свободное м#сто, выпрямлялся зд#сь, протягивался, и долго трепеталъ, пугающій и непонятный... Можетъ быть, рыдали д#ти надъ отцовской могилой, можетъ-быть, мать убивалась надъ трупомъ первенца, можетъ быть, плакали сами камни – н#мые свид#тели неизбывной челов#ческой боли...

Начался и городъ.

Показались наполовину поглощенные землей уродливыя домишки, изъязвленные желтыми пятнами кизяка и черными нашлепками грязи; потянулись канавы, полныя темной жижи и обросшія по краямъ игловидными колючками. Изъ канавъ шелъ удушливый смрадъ, онъ см#шивался съ горькимъ запахомъ копоти отъ случившагося наканун# огромнаго пожара, и отъ этого трудно было дышать. У канавъ и посреди улицы, въ пыли, возились еврейскія д#ти, полунагія, босыя, и лица у вс#хъ были бол#зненные, зеленыя, а у н#которыхъ покрыты чирьями. На перекрестк# двухъ улицъ, у обгор#лой бани, съ блаженной улыбкой на отвислыхъ губахъ, стоялъ паренекъ, л#тъ шестнадцати, въ одной рубах#, а д#ти съ радостнымъ визгомъ задирали ему рубаху и плевали на голое т#ло. Паренекъ былъ полоумный, онъ не противился д#тямъ и тихо хихикалъ. Временами онъ вскидывалъ къ небу свои тусклые, большіе глаза и точно искалъ тамъ кого-то. Но никого не было въ чуждомъ неб#, и полоумный переводилъ глаза на мучившихъ его д#тей и начиналъ тихо и быстро бормотать...

– Шлемка, Шлемка, отгони отъ меня собаку, – кашляя и задыхаясь, всхлипывала сид#вшая на завалинк# парализованная женщина. – Шлемка, отчего же ты не идешь?

Шлемка не являлся, а собака, тощая, съ обл#злымъ бокомъ, съ кровью на морд#, не торопясь и тихо рыча, со вс#хъ сторонъ обнюхивала неподвижнаго челов#ка и тыкала въ него окровавленной мордой...

Вс# люди, которые встр#чались на улиц#, были жалкіе и хилые, и лица у нихъ были бл#дныя, удрученныя и какія-то встревоженныя. Точно производили гд#-то далеко, въ нев#домомъ краю, сортировку, отбирали вс#хъ сильныхъ, цв#тущихъ и довольныхъ и оставляли на м#ст#, а все, что было больного, искал#ченнаго, изнуреннаго, отсылали сюда. И оттого скорбью и уныніемъ в#яло зд#сь отъ всего, – и отъ жалкихъ лачугъ, темныхъ, полуразрушенныхъ, и отъ черной земли, изъязвленной зловонными лужами, и отъ самого неба, зятянутаго мутною, грязно-желтою тучей... Вся улица, весь околотокъ, весь почти городокъ былъ царствомъ великой нужды, и боли, и муки, и горестныхъ вздоховъ, и неизбывныхъ, бездонныхъ страданій...

Соня продолжала говорить и горячиться, но внимание Якова отвлечено было к другому, и он не возражал сестр#, да почти и не слушал ее. Глаза его, выражавшие печаль и затаенную боль, тихо блуждали по сторонам...

В этом городк# Яков родился, зд#сь он вырос, он знал чуть не вс#х его жителей, знал в подробностях их тяжелую, горькую жизнь.

Сам сытый и здоровый, еще мальчуганом, он ужасался тяжести этой жизни, и она вызывала в нем и напряженные думы, и мятежные чувства. Он, страдая, на кого-то негодовал, кого-то яростно проклинал, угрожал кому-то, злобно и гн#вно, и сулил жестокую месть и расправу... Он р#шил вс# силы свои отдавать на то, чтобы исправить, перестроить и обновить эту страшную жизнь. Но что надо д#лать – он не знал. Он учился. Учение не шло ему в голову. И сидя за уроками, а поздн#е за лекциями, он все время томился и думал, что д#лает не то, что нужно... Университет пришлось ему оставить с первого же курса, и это не только не опечалило его, а, наоборот, обрадовало: он стал свободным и мог приступить к д#ятельности "самой нужной". Но скоро он сказал себ#, что в сущности не знает все-таки, какая она, эта "самая нужная д#ятельность". Он присматривался, вдумывался, читал – и все боялся, у сомн#вался... Одно время он тоже увлекался сионизмом, – собирал "шекеля", организовал кружок, читал в нем рефераты, агитировал всячески, – но д#лал это как-то нер#шительно, вяло, без должного увлечения, а порою даже с чувством недоум#ния и досады; и уже думал он, что такая несчастная особенность его темперамента – всегда колебаться и ощупывать, и пугался он этого, и негодовал на это, и страдал от этого сильно...

– Ничего не могу, ничего из меня не выйдет, – с тоской и со страхом говорил он себ#:- неврастеник, слабняк, и н#тъ во мн# ни силы, ни порыва, ни огня...

Он становился мрачен и угрюм, он страдал глубоко и постоянно, и темной и ненужной казалась ему его жизнь.

Он у#хал потом в Париж – учиться медицин#, как сказал он отцу. Но за два года пребывания в Париж# он едва ли двадцать раз пос#тил лекции... Были зд#сь встр#чи с людьми ц#льными и сильными, с людьми мысли и темперамента, и были разговоры глубокие и страстные. И книги были, такие, о которых в придавленном Мертвоводск# и не слыхали... Все больше и больше св#та проливалось в голову Якова, больше огня в его сердце, и дорога его скоро развернулась перед ним в#рная и понятная... Остаться на чужбин# дальше уже нельзя было, и он р#шил вернуться домой, к работ#!..

Бодрым и гн#вным #хал он на родину, полный р#шимости и сил. И зд#сь, при вид# родных м#сть, таких несчастных, таких убогих, он вдруг почувствовал себя еще бол#е сильным, еще бол#е р#шительным. Ненависть затопляла его сердце, и гн#въ загорался в глазах...

Он продолжал смотреть# по сторонам, на темные берлоги. Там гниют ремесленники, у которых н#тъ заказов, мелкие служащие, у которых н#тъ м#сть, мелкие торговцы, у которых н#тъ товара. Безработные рабочие, люди, не знающие, куда броситься, люди без подобия опред#ленных занятий; они маклеруют, попрошайничают, паразитствуют, нищенствуют – среди других, тоже маклирующих, тоже паразитствующих, но в чуть-чуть бол#е крупных разм#рах.

Насильственно сгущенная тьма душист тут вс#х. Искусственно прививаются пороки, уродуется и искореняется все, что есть в сердцах высококого, челов#чного.

Вс# конкурируют между собой и враждуют, и грызутся, и ябедничают, и доносят. Сброшенные в кучу, сжатые жел#зным кольцом, люди в б#шеной свалк#, в диком напряжении давят друг друга и озлобляют, ожесточают и растаптывают и, постоянно униженные, постоянно оплеванные, угрожаемые и истребляемые, в судорогах голода, в корчах бол#зней, рвут жалкой случайный кусок на тысячу крох. Больные д#ти больных

отцовъ рождаютъ больное потомство, и младенцы уже въ чрев# матери поражены туберкулезомъ, сифилисомъ и безуміемъ. Со скрюченными ногами, со вздутыми животами, съ глазами гнойными, покрытыя язвами и корою скверныхъ сыпей, изуродованныя, безкровныя, въ смрад# и грязи, какъ щенята въ выгребной ям#, копошатся зд#сь д#ти и мрутъ массаи, не узнавъ сытости, не узнавъ, что такое часъ безъ страданія.

Въ тоск# и страх# проходитъ зд#сь жизнь, зд#сь н#тъ м#ста передышк#, зд#сь не видятъ къ себ# милосердія. Н#тъ пощады, н#тъ поддержки, гаснутъ просв#ты и гибнетъ надежда. Стонъ, стоящій надъ кладбищемъ, еще мучительн#е бьется зд#сь. Угрозы перем#шались съ пресмыкательствомъ, съ проклятіями униженная мольба. Зд#сь люди похожи на привид#нія и дни ихъ ужасны, какъ кошмаръ, а сны мучительны, какъ д#йствительность.

Но разв# духъ погасъ?..

Разв# не бродятъ зд#сь высокія мысли, не бурлятъ горячія чувства, мечтанія св#тлыя не расцв#тають, не проявляется воля сильная, и кр#пкіе, какъ гранить, не выходятъ отсюда гордые люди?..

О, изумительный, единственный, чудесный народъ!..

V

Подвода остановилась у небольшого, чистенького, св#тло-коричневого домика, съ кры-
лечкомъ и параднымъ ходомъ.

На нижней ступеньк# крыльца стояла невысокая женщина л#тъ пятидесяти, худоща-
вая и бл#дная, – мать Якова, Шейна. У нея было большое кол#но, доктора вел#ли ей лежать
въ постели, и потому она не по#хала встр#чать сына. Но зд#сь, на крыльц#, она поджидала,
опираясь на костыль, уже больше часа и съ радостной тревогой вперяла глаза въ даль, ста-
раясь сквозь желтую мглу удушливой пыли разгляд#ть подводу съ дорогимъ челов#комъ

Туть же, подл# Шейны, стояла босоногая, щекастая д#вчонка, Марфушка, и глупова-
тое, но милое лицо ея, тоже нетерп#ливое и взволнованное, когда подвода, наконецъ, подь-
#хала и остановилась, осв#тилось вдругъ такой радостью, такимъ счастьемъ, какъ если бы
прі#халь не паничъ – чужой челов#къ, котораго Марфушка никогда и въ глаза не видала, а
родной ея, долгожданный и горячо любимый братъ...

Яковъ н#жно обнялъ мать, и бережно поддерживая, повель въ домъ.

– Гд# же отецъ? – спросилъ онъ.

– Не знаешь его? – отв#тила Шейна;– онъ-же всегда долженъ опоздать. Въ Гнилуш-
кину экономію по#халь, къ князю Абамелику, рапсъ покупать. Отложить нельзя было: князь
вечеромъ у#зжаетъ за границу... Марфушка! Вылупила глаза!.. Возьми же чемоданъ.

Щекастая д#вчонка, въ стыдливомъ восхищеніи сл#довавшая за прі#хавшимъ и не сво-
дившая съ него сіяющихъ, почти благодарныхъ глазъ, громко взвизгнула и, задыхаясь отъ
восторга, кинулась обратно къ крыльцу, за чемоданомъ.

Войдя въ домъ, Яковъ снялъ съ себя пиджакъ и жилетъ и сталъ умываться. Мать, при-
храмывая и стуча костылемъ, не переставая суетилась около него.

Въ первый разъ разсталась она съ сыномъ на такое, долгое время, и теперь, при
встр#ч#, переживала чувства, совершенно неизв#данныя, новыя. Каріе глаза ея, обыкно-
венно тусклые и усталые, теперь сильно оживились, они смотр#ли и весело, и скорбно, вре-
менами на нихъ наб#гали слезы, и женщина эта сама не понимала отъ чего – отъ радости,
отъ умиленія, отъ темнаго ли предчувствія...

Сони въ комнат# не было: братъ говорилъ чортъ знаетъ что, оказался челов#комъ чуж-
дымъ, и она р#шила, что его надо игнорировать. Она твердо р#шила его игнорировать... Но
не усп#лъ Яковъ окончить умываніе, какъ она появилась въ дверяхъ и заговорила:

– Какъ вы не понимаете того, что служите въ чужомъ стан#!.. Вашими руками загре-
бають жарь, разрушають классовыя перегородки, а когда ихъ разрушать, васъ выпрутъ вонъ
и ничего вамъ не дадутъ.

И когда Яковъ отв#тилъ, что никто ничего не будетъ давать, и что евреи сами себ#
возьмутъ то же, что возьмутъ и другіе, Соня стала доказывать, что "взять не позволятъ".
У евреевъ берутъ все, – ихъ грудь, ихъ кровь, ихъ геніевъ, Меерберовъ, Лассалей, Гейне,
Спинозь, – а потомъ имъ предлагаютъ ассимилироваться, раствориться. Вс# націи могутъ
жить, даже самыя ничтожныя – албанская, черногорская, сербская, – и только еврейство
должно умереть, раствориться. И в#дь этого требуютъ лучшіе люди. А между т#мъ отъ кого
получають весь свой св#тъ эти лучшіе люди? Кто ихъ Богъ и пророкъ? Еврей Марксъ. О,
отчего Карль Марксъ не носилъ чисто еврейскаго имени, отчего не назывался онъ Мордухъ?
Эти господа, которые требуютъ, чтобы еврейство растворилось, назывались бы теперь не
марксистами, а мордухистами.

Якова споръ сталъ тяготить.

Сейчасъ по прі#зд#, не разд#вшись, не умывшись, не разспросивъ о родныхъ, не пого-
воривъ даже съ матерью, которая съ такой н#жностью и такъ жадно на него смотреть и

ждеть его рассказовъ, его вниманія, онъ ввязался въ это крикливое перебрасываніе горячими тирадами, и это такъ утомительно и раздражаетъ... А Соня больна, и споръ ее такъ волну-етъ, она кашляетъ и задыхается, и схватывается за сердце... надо бы прекратить, надо бы сейчасъ прекратить...

Но Якову неудержимо хот#лось сд#лать одно только маленькое, заключительное, посл#днее возраженіе, – за нимъ сл#довало другое, третье, а Соня, даже не выслушавъ брата, съ своей стороны затопляла его горячимъ потокомъ гн#вныхъ, стремительныхъ словъ.

Съ тоской и съ тревогой слушала своихъ д#тей Шейна. Она вздыхала, разводила руками, бросала умоляющіе взгляды то на сына, то на дочь, а временами, набравшись храб-рости, изловчалась вставить слово, другое, и все пыталась увести д#тей въ столовую...

А въ сос#дней комнат#, притаившись, съ большой кастрюлей въ рукахъ, стояла Мар-фушка, и съ изумленіемъ, сердитая, смотр#ла черезъ растворенную дверь на то, что проис-ходило передъ ней. Столько было разговоровъ о прі#зд# панича, съ такимъ нетерп#ніемъ его ожидали, такъ н#жно мечтали о дорогомъ гост#, такія для него наготовили вкусныя печенія и варенья – и вдругъ, на вотъ теб#...

– Тільки що въ хату – и яка свара!

И Марфушка негодовала вс#мъ своимъ простымъ и чувствительнымъ сердцемъ. Уже она ненавид#ла "оцего чортяку", и была лютымъ врагомъ ему. Она слушала, слушала, – и все больше и больше закипала.

– У-у, горластый! Ажъ злякалась...

Полная огорченія и обиды, ушла она на кухню, забрала тамъ ц#лую гору м#дной посуды и выйдя во дворъ, на кучу песку, принялась за чистку. До нея долетали голоса и Сони и Якова, но она не хот#ла ихъ слушать, и, чтобы оградить себя, она затянула п#сню – да такъ визгливо, да такъ ожесточенно, что когда минутъ черезъ пять подъ#халь къ воротамъ Соломонъ Розенфельдъ, мужъ Шейны, и издали взволнованно крикнулъ: "А что прі#халь нашъ гость?" – то она ничего не слышала и не отв#тила.

– Прі#халь нашъ гость? – повторилъ Розенфельдъ, торопливо сл#зая съ брочки.

Не оглядываясь на хозяина, отчаянно визжа пескомъ по ярко сверкающей м#ди, Мар-фушка сердито буркнула:

– Прі#халь.

И почти не понижая голоса, она добавила:

– Хай бы вінъ тобі сказывся, чортяка патлатый!

VI

Появление отца заставило Соню и Якова н#сколько успокоиться. Пошли поц#луи, обычные восклицания, расспросы... Шейна воспользовалась изм#нившимися обстоятельствами и увлекла вс#хъ въ столовую.

Ус#лись вокругъ стола, и завязался живой, пестрый разговоръ – о загранич#, объ ученіи, о томъ, какъ свободно и легко живетъ еврей въ Франціи, о новыхъ ограниченіяхъ для нихъ въ Россіи, о торговл#, объ урожа#...

Соломону Розенфельду было съ небольшимъ пятьдесятъ л#тъ, но на видъ ему можно было дать вс# шестьдесятъ, – такъ с#да была его, въ свое время темно-русская, борода, такъ устало было его изборожденное морщинами мертвенно-желтое лицо. Движенія, впрочемъ, были у него довольно живыя, даже порывистыя, онъ быстро ходилъ, быстро и горячо говорилъ, и см#ялся громко и легко. И волосы на голов# его, б#лые, какъ сметана, торчали густыя и плотныя, какъ у юноши.

Онъ "занимался пшеницей", былъ агентомъ крупной экспортной фирмы, и въ урожайные годы "крутилъ д#ла". На фон# м#стной нищеты онъ считался челов#комъ зажиточнымъ; на самомъ же д#л# у него не было никакого состоянія, и это потому, что большую часть его заработка выматывало изъ него коммерческое начальство. И даже домишко Розенфельда былъ заложенъ у того же всевысасывающаго начальства.

Розенфельдъ былъ челов#къ неглупый, довольно чистый въ смысл# нравственномъ и пользовался въ город# уваженіемъ и вліяніемъ. При старомъ городскомъ положеніи, когда евреи могли быть избираемы, его неизм#нно выбирали въ гласныя и даже, если онъ не отказывался самъ, въ члены управы. Онъ не игралъ въ карты, не ходилъ въ клубъ, въ свободныя зимніе вечера любилъ читать, и б#да была только та, что книгъ въ городк# почти не им#лось. Самоучкой онъ одол#лъ – съ гр#хомъ пополамъ, впрочемъ, – н#мецкій языкъ, и въ его контор#, за стеклянными дверцами ясеневаго шкапчика можно было вид#ть ряды томиковъ, – сочиненія Гёте, Шиллера, Гейне и другихъ н#мецкихъ авторовъ.

– А ты порядкомъ изм#нился, – сказала Розенфельдъ, взглядываясь въ сына. – Борода... и угрюмый такой сталъ... Въ твои годы не надо быть угрюмымъ, усп#ешь еще... Еще будетъ время намучиться.

– Разв# еврей можетъ не быть угрюмъ, – вставила Шейна. – Слава Богу, подумать есть о чемъ... Кажется, о чемъ должно передумать еврейское пятил#тнее дитя, то русскому хлопцу даже до самой свадьбы въ голову не придетъ.

– Во всякомъ случа#, сегодня серьезность и всякая тамъ хмурость въ сторону, – весело проговорилъ Розенфельдъ, быстро пересаживаясь на другой стулъ. – Можно себ# иногда позволить им#ть и свободное лицо.

– Ты правъ, папаша, совершенно правъ.

Яковъ дружески улынулся отцу. Онъ и самъ очень не прочь былъ им#ть теперь и "свободное лицо", и свободную душу. Такъ хот#лось покоя, такъ нуженъ былъ отдыхъ посл# семидневнаго путешествія третьимъ классомъ, посл# массы наблюденій, сопоставленій и размышленій, горькимъ бременемъ навалившихся на сердце за время этого путешествія.

И обстановка была теперь такая, что спокойствіе могло бы пролиться въ душу. Мягкій сумеречный св#тъ, самоваръ, котораго не видишь за границей, чистая скатерть, вс# эти домашніе коржики и варенья, и старая, наивная, н#сколько см#шная мебель, и н#жное, ласково-печальное лицо матери, и товарищески-дружелюбный тонъ отца, хоть и пос#д#вшаго еще сильн#е, но все же подвижного, бойкаго, и такого милаго, милаго, – все это настраивало на какой-то добродушный, тихій, дружескій ладъ, трогало и умиляло. И хот#лось упиться этимъ умиленіемъ, хот#лось хоть на время забыть обо всемъ грозномъ и жуткомъ, – о вопро-

сахъ мучительныхъ, объ идейномъ разладѣ, о томъ, что дѣлается тамъ, за стѣнами этой старенькой столовой, хотѣлось довѣриться ей, родной и ласковой, отдаться, покориться...

Но что-то мѣшало Якову... Что-то жесткое и несдвигающееся давило ему душу, и онъ чувствовалъ себя неловко, стѣнно. Точно посадили его въ тотъ узкій промежутокъ, между буфетомъ и стѣной, на которой невольно устремлялись его глаза...

Его глаза устремлялись туда для того, чтобы не встрѣчаться со взглядами сестры. Соня сидѣла мрачная, тревожная, почти злобная. Было видно, что она осуждаетъ и это чаепитіе, и эти пустые разговоры, тяготится, и съ нетерпѣніемъ ждетъ, когда это окончится. Она походила на большое темное облако, которое въ лѣтній день проносится надъ кроткою нивой, и все разрастается, и все чернеетъ, и оттуда, сверху, высматриваетъ мѣсто, на которое нужно ринуться грознымъ и буйнымъ дождемъ.

– Сонечка, ты сидишь такая надутая, точно Яша у тебя жениха отбилъ, пробовалъ пошутить Розенфельдъ.

Соня сидѣла видъ, что улыбается, и старику стало стыдно: онъ почувствовалъ, что шутка вышла плоской и неумѣстной...

Послѣ нѣкоторой паузы опять пошли разговоры о пустякахъ, легкіе и вздорные разговоры, – тѣ именно, которые такъ хотѣлось бы вести теперь Якову, и которые, однако же, смущали его и конфузили.

Стемнѣло. Зажгли лампу и убрали самоваръ.

Пришло нѣсколько знакомыхъ и родственниковъ. Уже поль-города знало о приздѣ Якова, и всѣмъ хотѣлось взглянуть на небо, заграничнаго человѣка. Разговоръ сидѣлся оживленный, шумный. Какъ-то незамѣтно исчезла Соня, пронесло облако мимо, и Якову стало легче на душѣ, и онъ болталъ безъ умолку.

Просвѣтлѣло и лицо Шейны, она все топталась около сына и, желая сидѣть ему что-нибудь пріятное, причиняла массу маленькихъ огорченій и неудобствъ. Но ему отъ всего этого было весело, онъ радостно смѣялся и, разнѣжничавшись, по-дѣтски ласкался къ матери и цѣловалъ ее. А потомъ, вдругъ вспомнивъ, бросился къ чемодану и сталъ вытаскивать изъ него подарки. Матери онъ привезъ шелковый кружевной шарфъ, сестрѣ вѣеръ, отцу табачницу съ видомъ Эйфелевой башни.

Публика осматривала подарки, ощупывала, взвѣшивала на ладони, обмахивалась вѣеромъ, изумлялась и почтительно расхваливала чистоту и изящество заграничной работы. Маклеръ Халанай, глупое, льстивое и плутоватое существо, долго ощупывалъ кружевной шарфъ, съ авторитетнымъ видомъ глубокаго, многоопытнаго знатока, и, чмокая языкомъ и таинственно щура воровскіе глаза, приставалъ ко всѣмъ.

– Убратите ваше вниманіе!.. Вы только убратите вниманіе!..

Всѣ обращали вниманіе и находили, что дѣйствительно – шарфъ необыкновенный. И только одна Марфушка, приходившая накрывать на столъ къ ужину, на подарки почти не взглянула. Она латинскихъ изреченій не знала, о существованіи данайцевъ, дары приносящихъ, и не подозрѣвала, но отъ врага своихъ хозяевъ не хотѣла и подарка, – даже и для нихъ самихъ.

– Ну, что же вы скажете на моего француза? – развалившись въ креслѣ и совершенно размякнувъ, спрашивалъ гостей счастливый Розенфельдъ.

– Наполѣнь! Настоящій Наполѣнь! убѣжденно отвѣчалъ знатокъ Халанай.

VII

Часамъ къ одиннадцати, когда уже отужинали, и гости почти вс# разошлись, вернулась Соня.

Лицо у нея было крайне усталое, но довольное и веселое. Она подс#ла къ отцу и начала рассказывать о своихъ д#лахъ. Д#ла шли отлично: число членовъ сіонистскаго кружка возрастало удивительно быстро. Въ субботу прочтеть рефератъ изв#стный ораторъ Кременецкій, котораго выписали изъ Вильны. Въ сіонистскомъ хедер#, гд# обучаютъ и воспитываютъ въ строго сіонистскомъ дух#, усп#хи просто поразительные. Д#ти чудесно читаютъ и говорятъ по-древнееврейски, и невозможно слушать безъ волненія, какъ они на этомъ язык# поютъ о близкомъ переселеніи въ св. Землю.

Съ выраженіемъ счастливымъ и умиленнымъ рассказывала обо всемъ этомъ Соня, и она совс#мъ не зам#чала, что дыханіе у нея частое и прерывистое, и что щеки ея горятъ въ лихорадк#.

Сначала она обращалась почти исключительно къ отцу, но скоро перес#ла къ брату.

Теперь она говорила съ нимъ тономъ горделивымъ, слегка снисходительнымъ, а временами прорывались у нея нотки чисто отеческія. Она готова была ласково пожуричь заблудшаго и въ награду за чистосердечное раскаяніе подарить полной амнистіей... Впрочемъ, эта снисходительность потомъ исчезла, и Соня, вся затопленная н#жностью и добротой, уже безъ всякихъ заднихъ мыслей и плановъ просто и безхитростно д#лилась своими радостями съ Яковомъ, и онъ уже не былъ противникомъ, котораго нужно было поб#дить, а единомышленникомъ, добрымъ другомъ, горячо любимымъ братомъ, къ которому такъ и рвалась переполненная, св#гло настроенная душа, который и посочувствуетъ, и посоветуетъ, и порадуется, и загорится вм#ст# съ ней при поб#д#, и отъ ея же неудачи поникнетъ...

Яковъ странно чувствовалъ себя отъ этого. Все, что говорила сестра, казалось ему наивнымъ, нел#пымъ. Гнилью и тл#ніемъ, удушливымъ запахомъ пл#сени въяло на него отъ ея идеаловъ. Она была на ложномъ пути, на вредномъ пути – и ему хот#лось это крикнуть ей, объяснить, доказать. И онъ даже не чувствовалъ себя больше усталымъ, и слова и мысли въ немъ клокотали и бились, и рвались наружу.

Но онъ смущенно взглядывалъ на горящія щеки сестры, на ея странно расширившіеся, недобрымъ блескомъ блестящіе глаза, – и холодъ и страхъ проливались къ нему въ сердце, и уста смыкались...

А молчать тоже было трудно. Молчать нельзя было: очевидно, она молчаніе принимаетъ за сочувствіе. Онъ не возражаетъ, не споритъ, значить соглашается. Своимъ молчаніемъ онъ поддерживаетъ въ ней это заблужденіе, и это прямо нечестно... И кром# того, обидно за свои идеалы, которые попираются этими уродливыми разсужденіями узкой и близорукой сіонистки...

Соня же, ласковая и кроткая, воодушевляясь все больше и больше, и вся сіяя, рассказывала брату, что и сама уже научилась довольно сносно писать по-древнееврейски, что въ Иерусалим# устраивается національная бібліотека, и что сіонистскіе кружки организовались теперь и въ Пекин#, и въ Иоганесбург#...

– Самые д#ятельные сіонисты – это не Герцль, не Нордау, – не выдержалъ, наконецъ, Яковъ, мрачно смотр#вший куда-то въ сторону, – а Суворинъ и Крушеванъ. Породили сіонизмъ, распространяютъ его и укр#пляютъ не т#, кого вы считаете вашими вождями, а т#, которые насъ бьютъ. Пусть завтра обстоятельства улучшатся, пусть прекратятся погромы и будетъ удвоена процентная норма въ гимназіяхъ, – и сіонизмъ получитъ самый серьезный ударъ.

Соня быстро, как если бы ее внезапно коснулись раскаленнымъ жел#зомъ, вскочила съ дивана.

– Оставь! Оставь! – вскрикнула она, замахавъ руками.

– Пусть уничтожатъ процентную норму совс#мъ и выпустятъ насъ изъ "черты", и сіонизмъ очень скоро умретъ естественной смертью, – не м#няя тона, и съ т#мъ же сумрачнымъ, упрямымъ лицомъ договорилъ Яковъ.

– Яшенька, ты же такъ усталъ, – встревоженно поднялась вдругъ Шейна:– ты даже не отдохнулъ съ дороги, не полежалъ. Поди, ляжь.

– Да, я пойду...

– Это возмутительно! – съ силой, но вполголоса проговорила Соня, вздернувъ плечами.

Сразу и до посл#днихъ сл#довъ исчезло ее благодушное, ласковое настроеніе, и ц#лое море вдругъ отд#лило ее отъ брата...

– Это такъ низменно, такъ жалко, – сказала Соня, – это такъ пошло, что я... что... – она подб#жала къ Якову. – Это только вы, мелкіе, пошлые, нищіе духомъ люди, можете такъ смотр#ть на вещи. Огромное, великол#пное движеніе, которое раскинулось по всему земному шару, вы думаете остановить удвоеніемъ процентной нормы, какой-нибудь гнусной взяткой...

– Мы не будемъ останавливать твое огромное движеніе, – силясь быть спокойнымъ, сказалъ Яковъ. – Оно само собой остановится.

– Черта, процентная норма, игнатъевскія "временныя правила" – вотъ что васъ тяготить!.. Жалкіе вы люди! За чечевичную похлебку гражданскихъ правъ вы продадите и народъ, и его культуру, и его духъ.

– Яшенька, ты же сказалъ... – начала было Шейна.

Но Соня загородила ей дорогу и съ вызывающимъ видомъ стала передъ братомъ. Она встревожена, возмущена была до глубины души. Передъ ней стоялъ теперь не противникъ даже, а врагъ – почти предатель. И слова, которыми она его осыпала, были похожи на вылетающіе изъ кратера раскаленные камни.

– Вы рабы, вы несчастное порожденіе двухтысячел#тняго ига. Вы любите ц#ловать кулакъ, который разбиваетъ вамъ черепъ! И лучшія грезы ваши не идутъ дальше того, что настанетъ когда-нибудь счастливая пора, когда будутъ бить уже не въ лицо, а въ затылокъ. Холопы!

– Васъ называютъ фантазерами, утопистами, – кричалъ Яковъ:– я и такъ васъ не назову. Вы и не безумцы, вы просто чело#чки съ крохотнымъ мозгомъ.

– Постой, постой, Яковъ, вм#шался старый Розенфельдъ. – Это ты напрасно: среди сіонистовъ есть люди ученые, большіе профессора и знаменитые мыслители...

– Соломонъ! оставь хоть ты! – съ отчаяніемъ бросилась къ мужу Шейна.

– Вотъ какой у нихъ мозгъ, – отм#ривалъ у себя на мизинц# Яковъ. – Нев#жды, тупицы...

Съ лицомъ хмуримъ и злымъ онъ доказывалъ, что исторія не знаетъ прим#ровъ, когда государства создавались бы по заказу. Люди жили для себя, искали хл#ба, работы, безопасности для семьи, организовывали самозащиту, а государство выросло потомъ само собою, какъ естественный и неизб#жный результатъ напряженныхъ заботъ каждаго о своемъ собственномъ благополучіи. Сіонисты же всякаго изголодавагося, больного, избитаго еврея, еле спасшагося отъ кулака и топора громилы, хотятъ заставить думать и работать не для себя и своихъ д#тей, а для какого-то химерическаго государства. Прутъ противъ незыблемыхъ законовъ исторіи и природы, и думаютъ, что заставятъ солнце всходить съ запада...

– Исторія не знаетъ прим#ровъ! – саркастически восклицала Соня. – Какой ужасъ! Исторія не знаетъ, а мы покажемъ эти прим#ры. Вы – рабы, рабы всего, вы рабы и исторіи.

Вы ея рабы, а мы ея повелители. Мы сд#лаемъ то, что до насъ не д#лалъ никто. Мы и исторіи
укажемъ новые пути!..

VIII

И долго еще стоялъ этотъ споръ подъ кровлей Розенфельдовъ и д#лался онъ все страст-
н#е и бурн#е.

Спаль городокъ.

Спали голодные, измученные, униженные люди, – но сонъ не давалъ имъ успокоенія и
мира, и они и во сн# вскрикивали и метались. Вся пережитая боль, весь испытанный ужасъ,
вся горькая тоска долгихъ, долгихъ черныхъ дней – отливались въ дикія безумныя вид#нїя,
и, несчетныя, носились вид#нїя подъ низкими потолками смрадныхъ конуръ и давили зд#сь
и взрослыхъ, и д#тей. Чернымъ сонмомъ кружились они, поб#дныя и ликующїя, и захлебыва-
ваясь, въ страшномъ молчанїи, пили кровь, – челов#ческую кровь... Богъ не останавливалъ
жестокаго пира. И только два юныхъ челов#ка, – д#вушка, пораженная смертельной бол#з-
нью, и ея братъ, быть можетъ, тоже носившїй уже въ себ# страшное имя того же недуга – со
страстью, съ гн#вомъ, съ затаенными слезами, трепеща и сгорая, шли на роковую борьбу...

Р#зкимъ приступомъ раздирающаго, гулкаго кашля Соню внезапно перегнуло попо-
ламъ, и она быстро схватилась за край стола. Спина ея, узкая, сутулая, сильно колыхалась
отъ непрекращавшихся внутреннихъ толчковъ, и колыхался и столъ. Звуки кашля, трепет-
ные, злов#щіе, заполнили комнату и бились во вс#хъ углахъ ея.

– Боже мой, Боже мой! – въ отчаянїи стонала Шейна, прижимая къ груди ладони. –
Когда это окончится!..

– Тише, будетъ теб#... – вполголоса сказалъ жен# старый Розенфельдъ, самъ растерян-
ный и возбужденный. – погоди, сейчасъ они разойдутся... Яковъ? – просительно посмот-
р#ль онъ на сына. – Видишь в#дь...

– Ухожу, ухожу, – торопливо пробормоталъ Яковъ и взялъ со стола давно пригото-
вленные для него св#чку и спички.

– Мы не растворимся! – выпрямилась вдругъ Соня.

Она платкомъ вытирала затопленные слезами глаза и мокроту съ губъ.

– Н#-#-#тъ, мы не растворимся! Въ святую землю, подъ с#нь в#ковыхъ кедровъ, къ
могиламъ великихъ и святыхъ вождей, къ могиламъ пророковъ и царей, слагавшихъ псалмы,
поведемъ мы народъ нашъ! И чудо свершится. Вс# страданїя народа, и вся невинно пролитая
кровь его, и слезы его, и живьемъ сожженные т#ла, и женщины опозоренныя, и съ крышъ
на камни сброшенныя д#ти, – вс# замученные и раздавленные, вс# стоны ихъ и молитвы,
и предсмертные хрипы – все претворится въ радость и сїяніе для грядущихъ покол#нїй!..
Говорю теб#, что такъ оно будетъ! Чудо должно быть, чудо должно быть!.. И челов#чество
пойдетъ за нами, мы озаримъ ему путь! Мы разъ уже дали ему Бога, и мы снова спасемъ
его. Впереди вс#хъ пойдёмъ мы, я в#рю! Св#тлые, сильные, радостные! И умиротворенные
народы, обр#вшїе новаго Бога, посл#дуютъ за нами... И тогда пусть! Пусть тогда наступитъ
всеобщее сїяніе, и пусть создастся на земл# одинъ, единственный и высшїй народъ!

Соня окончила звонкой, острой нотой. И въ ушахъ Якова эта нота царила еще долго
посл# того, какъ д#вушка умолкла.

Онъ съ изумленїемъ, потрясенный, смотр#ль на сестру.

Какъ высшее, непонятное, откуда-то сверху сошедшее существо, какъ пророкъ, стояла
она, вдругъ выросшая, прямая, вся осїянная св#томъ энтузіазма, вся преображенная огнемъ
вдохновенїя. Мощь, великая мощь несокрушимаго, всепоб#ждающаго духа была въ ея гла-
захъ, въ поднятой кверху рук#, въ сверканїи б#лыхъ и острыхъ зубовъ.

И все приникло въ дом# и затихло. И только за окномъ какъ будто что-то трепетно
шелест#ло, и тамъ становилось св#тл#е. Злобные призраки, чернымъ сонмомъ носившіеся
по спящему городку и терзавшіе его, дрогнули въ испуг# и стали разс#еваться и исчезать...

Яковъ стоялъ неподвижно, съ м#днымъ подсв#чникомъ въ одной рук#, съ полуоткрытой коробкой шведскихъ спичекъ въ другой, и не зналъ, что д#лать.

Моменты високаго душевнаго подъема были знакомы и ему, но то, что происходило теперь съ Соней, поразило его и смутило.

– Истерія... бредь... – подползали къ нему смрадные, липкія, какъ ящерица, слова. Но онъ раздавилъ ихъ съ омерз#ніемъ и гн#вомъ.

И ему хот#лось подойти къ сестр#, взять ее за руку... поклониться ей, – но онъ не посм#ль... или ему было стыдно... И онъ продолжалъ стоять, съ подсв#чникомъ и спичками, и не зналъ, что д#лать.

А у Сони красная капля выступила въ углу рта, и это походило на то, что д#вушка держала во рту булавку съ коралловой головкой. Мгновеніе коралль продержался, потомъ дрогнувъ, покотился внизъ, и на подбородк# повисъ, оставивъ на смуглой кож# алый сл#дъ.

– Дитя мое, Сонечка, доченька! – взмолилась Шейна, схвативъ дочь за об# руки:– что хочешь д#лай со мной... въ другой разъ... въ другой разъ я теб# уступлю... а теперь пойдемъ... отдохни.

Соня посмотр#ла на мать, – прямо въ глаза ея, – и лицо у ней сд#лалось вдругъ скорбнымъ и н#жнымъ. Она провела платкомъ по подбородку, тихо вздохнула и, поддерживаемая матерью, пошла къ дверямъ.

Яковъ, не шевелясь, исподлбья смотр#ль на удаляющуюся сестру; и когда та скрылась за дверью, глаза его продолжали упираться въ притворенную дверь...

Онъ тихо пожалъ потомъ плечами и чиркнувъ спичкой по коробочк#. Спичка сломалась, не вспыхнувъ. Яковъ положилъ тогда коробочку на подсв#чникъ и съ незажженной св#чой направился въ свою комнату. Шель онъ на цыпочкахъ, осторожно опуская ноги, и отчего шель такъ – не зналъ, и объ этомъ не думалъ.

И Соломонъ Розенфельдъ тоже безшумно, и какъ будто крадучись, вышелъ изъ этой комнаты и исчезъ въ мутномъ сумрак# обширной конторы.

Глаза старика полны были странной тревоги, и пальцы судорожно путались въ б#лой, какъ саванъ, бород#...

Всколыхнулось все, встревожилось, бьется и ищетъ выхода, рветъ оковы и съ грохотомъ сноситъ преграды. Молодою кровью орошается крутая дорога, пламенемъ сгорающихъ душъ осв#щается она, – и гд# же конецъ, конецъ?

Вокругъ стенанья, вопли, неслышанная и безумная боль... Спать городокъ... Черезъ н#сколько часовъ онъ проснется, – и какъ и вчера, какъ и завтра, день полонъ будетъ униженія, и страха, и скорби, и лишній, – лишній, какихъ не можетъ выносить челов#къ. Больные младенцы припадутъ къ высохшимъ грудямъ изнуренныхъ матерей, и не найдя въ нихъ молока, безъ плача, для котораго тоже в#дь силы нужны, будутъ корчиться отъ жгучаго голода. И ихъ изсушенные матери, и ихъ полуживые отцы, посин#лыми, потрескавшимися губами, блуждая угасшими взорами, въ замираніи страха, въ тоск# безпросв#тности, разбитыми, изъязвленными голосами будутъ что-то говорить, объ эмиграціи, о странахъ на томъ краю океана, о хл#б#, о правд#, о жизни...

И о Бог# будутъ говорить они, о великомъ и милосердомъ Бог#, все же не оставляющемъ народа своего и посылающемъ ему д#тей, кр#пкихъ и сильныхъ, – д#тей, которыя бьются и ищутъ выхода, рвутъ оковы и съ грохотомъ сносятъ преграды, – д#тей, которыя кровью своею орошаютъ крутую дорогу и пламенемъ сгорающихъ душъ своихъ озаряютъ глубокія дали ея...

И скоро конецъ, конецъ...

IX

– Соломонъ, – проговорила Шейна, поднимая къ мужу убитое, смоченное слезами лицо. Соломонъ...

Она уже минутъ пять сид#ла въ контор#, на длинной деревянной скамь#, но взволнованный, поглощенный своими думами, старикъ Розенфельдъ ея не зам#чалъ.

– Погибли наши д#ти, съ тихимъ рыданіемъ говорила Шейна:– погибли...

Смертельная скорбь дрожала въ ея голос#.

– На старости л#тъ мы останемся одни... одиноки, какъ камни...

Старикъ молчалъ.

– Людямъ счастье, продолжала Шейна: – какая-нибудь Меерштейниха, кто она? Кто былъ ея мужъ? процентщикъ, доносчикъ, посл#дній челов#къ! И ея д#ти кто такія? грубые характеры, мужланы вс# в#дъ это скажутъ. А посмотри, какъ они пристроены: одинъ – докторъ, другой – инженеръ и получаетъ шесть тысячъ, дочка за агентомъ варшавскаго банка... А наши... Сонечка... если она не оставитъ этого сіонизма... не знаю, переживетъ ли она осень, а Яша... – Шейна затрепетала: – его у насъ отнимутъ...

Розенфельдъ держался об#ими руками за рукоятку копировальнаго пресса и сумрачно уткнулся глазами въ землю.

– Надо, чтобы мы переговорили съ ними, – вдругъ переставъ плакать сказала Шейна. – Пусть они пожал#ютъ насъ. Я буду на кол#няхъ молить... Я буду землю ц#ловать передъ ними, я все сд#лаю...

– Не поможетъ! – р#зко оборвалъ Розенфельдъ. – Ничего не поможетъ! Мы ничего не можемъ и они сами тоже ничего не могутъ. Ты понимаешь это?.. Ты сидишь дома, ты не знаешь, что д#лается. Черные дни настали на земл#, какъ гора жизнь давить людей. Миръ гибнетъ! Камни кровью залиты, и въ Буг# не вода, а кровь челов#ческая течетъ... Идешь по улиц#, #дешь полемъ, ночью гд#-нибудь на площади очутишься, никого н#тъ, а плачь такъ и звенить... Я знаю? Можетъ быть, это мертвецы плачутъ и молятъ за насъ Бога. Невозможно больше терп#ть, невозможно!..

Старикъ снялъ руки съ копировальнаго пресса и сложилъ ихъ на груди. Въ тускло-осв#щенной, просторной и пустой контор#, среди безмолвія ночи, с#дой, бл#дный, съ сверкающими, смятенными глазами, онъ на разстроенную, убитую Шейну производилъ впечатл#ніе жуткое, пугающее. Онъ казался загадочнымъ, дикимъ; что-то таинственное и опасное было въ немъ, и б#дная женщина вдругъ сгорбилась вся, съежилась и забилась въ уголь.

– Невозможно! – шипящимъ шопотомъ сказалъ старикъ, впиваясь въ жену глазами. – Это ледоходъ!.. Выйди во время ледохода на берегъ и поставь заборъ, перегороди льду дорогу, – поможетъ?.. Когда все уже взломилось и ищетъ выхода, и несется впередъ – поможетъ теб#?

Старикъ сд#лалъ шагъ къ жен# и нагнулъ голову.

– И я и не хочу, чтобы помогло, отчетливо, разд#ляя слоги и напирая на нихъ, сказалъ онъ. – Д#ти Меерштейнихи, ты говоришь: д#ти доносчика процентщика?.. Пусть! Пусть! А мои д#ти... Моя молодость далека, свою жизнь я потерялъ, я ничего не сд#лалъ... Я въ конторской передней воспитался, я темный челов#къ, я остался ничтожнымъ пшеничникомъ. Но меня Богъ благословилъ д#тьми, – и они пусть идутъ!..

Онъ на мгновение остановился.

– Я не знаю, кто изъ нихъ правъ: Яковъ или Соня, но... – Онъ поднялъ кулакъ и сд#лалъ такой жестъ, какъ если бы забивалъ гвоздь. – Пусть они идутъ! пусть они идутъ!.. – съ силой сказалъ онъ и отвернулся.

Онъ отвернулся, – и страхъ вдругъ объялъ его, темный, позорный, въ мучительный трепеть ввергающій страхъ.

Коралловая капля въ углу сжатаго рта сверкнула во мрак#, и шопоть предсмертный прохрип#ль, и потянулось подь погребальное п#ніе черное шествіе... И другое шествіе затуманилось въ глубин#, уже не черное, а с#рое... Кандалы забряцали, сверкнули штыки... Вокругъ сн#га, и льды, и дикіе зв#ри, и дикіе люди, и ночь, которой н#ть конца, и мука, которой н#ть исхода...

Н#ть д#тей, н#ть д#тей, н#ть д#тей...

И онъ, старый и больной, всю жизнь страдавшій и носившій ярмо для д#тей, одинъ остался ко склону дней своихъ съ Шейной, и безъ словъ сидять они другъ противъ друга, сдавленные пустотой, замученные думой, одинокіе и н#мые, какъ камни...

И усталое, высохшее т#ло старика трепетало отъ тяжкаго и ненавистнаго страха.

Н#ть д#тей... н#ть д#тей... н#ть д#тей...

Х

А Шейна, поднявъ голову, съ новымъ чувствомъ смотр#ла на мужа...
И ей было страшно, и ей было больно, но что-то бодрое и величавое забилося въ ея груди...

Въ эту минуту она не завидовала Меерштейних#.

Понятнымъ сд#лался мужъ, родн#е стали вдругъ д#ти, – и въ глазахъ загор#лось выра-
женіе гордаго вызова...

Сборникъ Товарищества «Знаніе» за 1904 годъ. Книга пятая